

А.Я. Панаева (Головачева)

Воспоминания о домашней жизни Н.А. Некрасова

...Кучера Николая экипировал Некрасов с ног до головы, но Николай не имел хорошего вида на козлах; он сидел боком, вожжи держал распутивши, задергивал лошадь, нещадно бил ее кнутом без всякой нужды. Его новый кафтан очень быстро превратился в засаленный; он никогда не застегивал его на все пуговицы; кушак надет был криво; шляпа на затылок.

Панаев пожимал плечами, встречая Некрасова едущего. Раз я шла с Панаевым, и мы увидали, как Некрасову чуть не попало дышлом в голову, так хорошо правил Николай.

Панаев говорил Некрасову:

— Ездить с таким кучером — это значит подвергать свою жизнь каждую минуту опасности.

— Привыкнет! — флегматично повторял Некрасов. — Да разве и извозчики лучше ездят, чем Николай?

Однажды утром Некрасов вернулся домой сильно прозябший. Ему пришлось не только самому править лошадей, но еще держать в объятиях Николая, успевшего окончательно напиться в те промежутки, когда Некрасов заходил в типографию. На другой день утром Некрасов отечески усовещивал своего кучера, явившегося к нему с повинной головой.

Николай божился, что без приказания Некрасова в рот капли водки не возьмет.

— Я тебе не запрещаю пить водку, но пей в меру и лучше не закладывай лошадь, если напился.

— Слушаю-с! — отвечал Николай.

Как-то мы сидели за завтраком. Некрасов послал Ивана сказать кучеру, чтобы тот скорее закладывал лошадь, но Иван вернулся с ответом, что кучер не будет закладывать лошади, потому что сам барин приказал ему не закладывать, когда он бывает выпивши.

Все присутствовавшие за завтраком, конечно, рассмеялись, и сам Некрасов, улыбаясь, сказал:

— Однако Николай ловко воспользовался моею оплошностью.

Один только Боткин, гостивший в то время у Панаева, не смеялся, а раздражительным тоном сказал Некрасову:

— Я удивляюсь, как тебе не омерзительно смотреть на своего Николая.

— Я не чувствую омерзения к ним, а жалость, потому что с детства насмотрелся на их жизнь, начиная с их детства и до смерти. И мы с тобою были бы такими же, если бы родились дворовыми.

— Гуманность, любезный мой, есть продукт цивилизации, но развитому человеку омерзителен вид двуногого животного.

— А кто превратил их в двуногих животных, как не цивилизованные люди? — спросил Некрасов.

Панаев хотел что-то сказать, но Боткин остановил его вопросом:

— Зачем же ты отпустил на волю своих дворовых и нанимаешь вольную прислугу?

Панаев не нашелся вдруг ответить.

— А это, любезнейший, доказывает, что в тебе не было закваски помещика. Эстетическое чувство в тебе развилось, а такой человек не может видеть около себя этих дикарей.

— Да ведь у Некрасова нет ни души дворовых, — проговорил Панаев.

— Не стоит, господа, продолжать этого разговора, – вставая из-за стола, сказал Некрасов, – пусть лучше я останусь с закваскою помещика на всю жизнь, да не буду с отвращением относиться к людям только потому, что они родились на барском дворе.

Боткин надулся на Некрасова и прочел целую лекцию о том, как необходимо развивать в себе эстетическое чувство.

— Мне претит русский овчинный тулуп, – говорил он, – мое обоняние не может переносить этого запаха. Я в Германии и во Франции с удовольствием беседовал с рабочими, видел в них себе подобного человека, а не двуногого животного, у которого в лице нет тени интеллигенции, и одежда-то на нем звериная.

Между тем Николай более не присылал ответа, будет ли он или не будет закладывать лошадь. С этого времени он всегда исполнял приказание, но выходило хуже. Он вывалил раз в пьяном виде Некрасова из саней в кучу грязи. Некрасов принял меры. Как только он замечал, что Николай выпивши, то на половине дороги пересаживался на извозчика, а ему строго приказывал сейчас же ехать домой, распрячь лошадь и лечь спать.

Но однажды, недалеко отъехав от дома, Некрасов отослал лошадь домой, и когда возвратился к обеду, то встревожился, что Николай с тех пор еще не возвращался.

— Ну, значит, Николай нахлестался до бесчувствия и попал в полицию, – заметил он.

Петр был послан разыскивать Николая, который действительно очутился на съезжей; дрожки были изломаны, и у лошади зашиблена нога. Все это донес Петр своим бестолковым слогом; о самом же Николае Некрасов спросил:

— Да целы ли ноги и руки у Николая?

— Вот, целехоньки! – ответил Петр. – Вот, только маленько подбита скула, — квартальный бил его.

— А хмель-то вышиб из него?

— Вот, ни в одном глазу нету, теперь, вот, и плачет. Некрасов велел Петру вместе с Николаем привести лошадь и дрожки домой...

— Вот, квартальный не выпустит Николая, вишь, двадцать пять рублей подай ему, – твердил Петр.

С большим трудом добился от него Некрасов, что квартальный требовал с Николая за поломанные дрожки у извозчика, который заявил претензию на Николая в полицию.

— Ах, разбойник! – воскликнул Некрасов. – Лошадь искалечил, дрожки сломал, да еще двадцать пять рублей плати! Пусть же его посидит.

Но на другое утро он послал деньги квартальному.

Дрожки до того были исковерканы, что и чинить их не стоило. Ногу лошади надо было долго лечить.

Николай явился с обвязанным лицом к Некрасову, который сурово его спросил:

— Зачем ты пришел, разве я тебя звал?

— Простите, Николай Алексеевич! – слезливым голосом проговорил Николай. – Пожалейте моих стариков. Я уж заслужу вам, только не отсылайте меня к старому барину.

— Дурак ты, — на что мне кучер, когда ни лошади, ни дрожек у меня теперь нет по твоей милости?

— Ногу у лошади я скорехонько залечу, а за починку дрожек вы уж высчитайте из моего жалованья.

— Нет, мне выгоднее и спокойнее держать месячного извозчика, чем свою лошадь.

— Коли я вам не нужен, так я на место пойду, только уж вы не отписывайте старому барину, а то он меня вытребуется отсюда.

Николай стал всхлипывать и винить знакомых кучеров, которые его спаивали.

— Теперь, Николай Алексеевич, даю вам крепкий зарок: не токмо пить водку, но даже смотреть на нее не буду.

— И прекрасно сделаешь.

— Так, значит, я буду себе место приискивать, Николай Алексеевич.

— Приискивай.

— Мои старики век за вас будут молить бога.

— Ну, хорошо, хорошо! Сначала залечи себе синяки и никому не показывайся, а потом ищи себе место.

Но Николай более двух недель не уживался на местах и уверял Некрасова, что ему «незадача» и что будто бы его не прогоняли, а он сам уходил с них.

Наконец однажды он явился просить Некрасова отправить его в деревню.

— Соскучился по своим старикам, Николай Алексеевич. Отец пишет, что мать больна, помрет еще, и я останусь без ее благословения.

— Ну, с богом, отправляйся! – ответил Некрасов и дал ему денег на дорогу.

Перед своим отъездом Николай, прощаясь с Некрасовым, прослезился.

Прошло дней пять. Как-то утром, когда я встала, на мой звонок явилась горничная с заплаканными глазами. Я спросила о причине ее слез и уже предвкушала предстоящую мне тяжелую обязанность разыгрывать роль судьи.

— Ах, Авдотья Яковлевна, мы все наплакались в кухне, глядя на бедного Николая, – отвечала горничная.

— Как? разве он не уехал? – воскликнула я.

— Нет. Сегодня, недавно, пришел в кухню и так плачет, так плачет... – говорила горничная, утирая слезы. – Петр с дворником поили его два дня и все деньги у него отобрали, что ему дано было на дорогу. Он не евши сидел два дня в кучерской, – и горничная опять заплакала. – Он хочет вас повидать.

Я пошла в кухню. Николай упал к моим ногам и, рыдая, молил меня отправить его в деревню.

Горничная, прачка и кухарка утирали слезы и тоже просили меня сжалиться над жертвой жестокосердого Петра и дворника.

Некрасов также был поражен, узнав, что Николай еще пребывал в Петербурге. Сгоряча он хотел было исследовать дело, но, конечно, ничего не добился. Петр божился, что он знать не знал о пребывании Николая в кучерской, а дворник доказывал: почему он должен был знать, что кучер рассчитан и ему, выпивающему, давали деньги!

Некрасов вынужден был дать снова денег на дорогу Николаю, отправив его под присмотром знакомого ярославского огородника, ехавшего также на родину по соседству с деревней отца Некрасова. <...>

* * *

Я уже упоминала в прежних моих воспоминаниях о пребывании Некрасова за границей и как европейские светила-доктора приговорили его к смерти. Он вернулся в Петербург умирать, а вместо того выздоровел.

Подписка на «Современник» с каждым годом увеличивалась; денежные дела журнала более не озабочивали Некрасова. Он имел хороших помощников по изданию журнала и мог пользоваться отдыхом. Он опять стал ездить в Английский клуб и уже поздно ночью возвращался домой, забыв совет доктора, вылечившего ему горло, что надо вести правильный образ жизни. Когда же ему об этом напоминали, то он сердился и находил, что ему необходимо притупить свои нервы и что игра в карты не может повредить здоровью.

Я как-то раз заметила Некрасову, что, втянувшись в игру, он не в состоянии будет остановиться и тогда, когда его счастье в картах изменит ему.

— В чем другом у меня не хватит характера, а в картах я стоик! Не проиграюсь! – самоуверенно отвечал Некрасов.

Я напомнила ему факт, как несколько лет тому назад он в какой-нибудь час проиграл тысячу рублей, которые для него тогда составляли очень значительную сумму. Однако, играя, он забывал об этом.

— Это был исключительный случай. Я слишком был поражен своим необычайным несчастьем и одурел. Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей, а если и есть у кого, то он ими не воспользуется.

Факт, который я напомнила Некрасову, заключался в том, что господин А... только что выступивший на литературное поприще своей повестью, приехал в Петербург из дальней провинции, где он постоянно жил. Он обедал у нас и после обеда предложил Некрасову и Панаеву сыграть в преферанс. Играли недолго. Панаеву надо было ехать куда-то на вечер, и он уехал. А... предложил Некрасову сыграть в банк.

— Я давно не играл в банк, – сказал Некрасов.

— Ну, ставьте рубль, – сказал А..., тасуя карты. Некрасов написал мелом рубль, прикрыл карту и, пока ставил небольшие куши, все выигрывал.

— Вот какое вам счастье, – говорил А... с досадою.

— Ну, не злитесь, – сказал Некрасов и поставил все 25 рублей, которые выиграл.

Карта его была убита.

Некрасов опять поставил 25 рублей и проиграл их.

Терминов я не припомню, но в какой-нибудь час Некрасов проиграл тысячу рублей.

Я удивилась тогда спокойствию, с которым играл Некрасов, всегда запальчивый в игре. Несмотря на уговаривание А... продолжать игру, убеждавшего, что проигравший может отыграть свои деньги, Некрасов, вставая из-за стола, сказал:

— Нет! больше не хочу играть. Сейчас вам принесу деньги. Получив деньги, А... уехал.

Некрасов сидел в раздумье у стола и сказал:

— Что за странность? Маленький куш ставил — выигрывал, а большой куш стал ставить — карта бита!

В это время пришли трое постоянных наших молодых гостей. Увидев, что раскрыт ломберный стол, они заметили Некрасову, что давно не играли с ним в преферанс, и стали играть, как обыкновенно, по четверти копейки.

Сдавались те самые карты, которыми метал банк А... Некрасов, взяв карты, вдруг сказал:

— Господа, позвольте эту сдачу не считать, мне нужно осмотреть карты, – и он стал рассматривать их.

Играющие и я с удивлением следили за Некрасовым, который пристально расследовал их. Когда он окончил осмотр карт, то спокойно сказал:

— Сдавайте.

Его стали спрашивать, зачем он рассматривал карты.

— Мне нужно было.

Играя, Некрасов все время шутил.

Когда гости, поужинав, ушли, Некрасов, взяв колоду карт в руки, сказал:

— Посмотрите, каждая карта отмечена ногтем. Ай да молодец, вот для чего отпускает себе длинные ногти! Ах, несчастный! Довести себя до такого позора. Если бы это не случилось со мной, я ни за что не поверил бы, чтобы неглупый человек, уже в зрелых летах, способен был так нагло позволять себе проделывать такие низкие вещи. И еще талант есть: к кругу литераторов будет принадлежать! Никому не надо говорить об этом: может быть, он образумится.

А... как ни в чем не бывало опять обедал у нас и приглашал Некрасова опять сыграть в банк, но тот отказывался.

— Отыграете, может быть, свои деньги.

— А может быть, еще проиграю вам.

— Не все же так несчастье вам будет. Да и я скоро уеду домой, тогда увезу ваши деньги.

— Увезите, – отвечал Некрасов и потом говорил мне: — Кажется, у А... совесть заговорила. Дай-то бог!

Когда Некрасов, ложась поздно, спал долго по утрам, Василия никто из посетителей, являвшихся лично к Некрасову, не мог уговорить, чтобы он разбудил его, и мне кажется, если бы квартира загорелась, то он только тогда начал бы будить Некрасова, когда уже горела бы соседняя комната.

Раз я заметила, проходя через сени из редакции на свою половину, как у дверей подъезда какой-то господин говорил Василию:

— Третий раз прихожу на этой неделе, и ты мне одно и то же отвечаешь, что он спит.

— Что нужно, идите в редакцию, – отвечал отрывисто Василий.

— Да мне лично нужно видеть господина Некрасова.

— Тогда приходите, когда он не спит!

— А в какое время?

— А я почем знаю? – отвечал Василий, захлопывая дверь. Я стала говорить Василию, что нельзя так грубо отвечать посетителям.

— А то будить Николая Алексеевича для всякого, кто его спрашивает? Мало ли таких шляется к нему за деньгами. Кому за делом нужно, так тот идет в редакцию.

Я, однако, сказала Некрасову, чтобы он велел Василию быть вежливым с теми, кто к нему приходит, и хотя сколько-нибудь разнообразить свои ответы: что, мол, дома нет или нездоров, не принимает, а то твердит все одно: «спит»...